



Александр
МЕЛИХОВ

Сапфировый
АЛЬБАТРОС

роман

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Дорогой Александр! Твой Альбатрос разбередил меня, схватил и понес. Твоей мощи и таланту невозможно сопротивляться. Герой, старающийся быть честным и живым, и два дьявола по бокам, терзающие его — либерально-негативный Феликс и «правильный» Алтайский, — как и в жизни, остался непонятен, что и принималось как значительность. Альбатрос, конечно, не он, а твой всегдашний идеал, не осуществляемый материально и улетающий в небо. Все это, конечно, рвет душу, и так с этим и остаешься.

Валерий Попов

Александр Мотельевич Мелихов

Сапфировый альбатрос

Серия «Самое время!»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69448465

Сапфировый альбатрос: Время; Москва; 2023

ISBN 978-5-9691-2365-6

Аннотация

Провинциальный мальчишка открывает в себе дар видеть мир чужими глазами и уже взрослым человеком попадает в петербургский Дом на набережной напротив Спаса на Крови. Этот дом тоже стоит на крови и страданиях живших там советских писателей, однако безжалостный обличитель Феликс называет этот дом Курятником на Канаве, а историю его знаменитых обитателей изображает историей трусости и приспособленчества. Но главному герою, которому приходится пройти через их страдания в фантазмагорическом мире, советская литература предстает в образе альбатроса в курятнике.

В романе много ярких зарисовок из прошлого и настоящего, есть и жизнь, и слезы, и любовь, есть потрясение отца, впервые увидевшего взрослого сына, есть улетевший памятник советской эпохе, роман сочетает бытовую достоверность и увлекательность с сильным символическим и фантазмагорическим началом.

Что дороже: правда или милосердие? Роман Мелихова при всей его горькой правде не беспощадный трибунал, но поиск понимания.

Содержание

Гриф и мамонт	8
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Александр Мелихов

Сапфировый Альбатрос

© Александр Мелихов, 2023

© «Время», 2023

* * *

Александр Мелихов, вне всякого сомнения, принадлежит к числу наиболее значительных и влиятельных писателей и эссеистов российской современности. Его романы «Исповедь еврея», «Роман с простатитом» давно стали классикой отечественной прозы; его эссеистика, предьявляющая актуальные проблемы искусства и современной жизни, всегда активно обсуждается в литературных кругах; его публичные выступления неизменно вызывают живой интерес у аудитории.

Его новый роман «Сапфировый альбатрос» не является исключением.

Мелихов совмещает различные эпохи, выводит различные типы художников: классических мастеров-профессионалов, вдохновенных творцов, примитивных резонеров. Он меняет точки зрения, совмещает разные интонации, создавая в романе особую атмосферу сложных парадоксов.

Я считаю этот роман замечательным произведением

большого мастера.

Андрей Аствацатуров

С огромным интересом прочитал твоего «Альбатроса»! Написано классно! И роман в романе про Зощенко – это очень сильно!

Павел Басинский

Книги Александра Мелихова всякий раз поражают еретичностью взгляда на то, что большинству читателей представляется незыблемым каноном. Мелихов вообще писатель-еретик в том смысле, какой вкладывал в это понятие Евгений Замятин: еретики нужны, чтобы не обеззубела культура, потчваемая идеями-котлетками, – клыки оттачиваются лишь тогда, когда есть кого грызть. Вот и в «Сапфировом альбатросе», крайне увлекательной истории, он снова умно и вдохновенно «святоотатствует» в храме русской литературы, где перетряхивает ковчег времен «советского завета». Несомненно, многим после этой книги захочется поточить свои клыки на Мелихове. Вот только он и сам зубастый.

Павел Крусанов

Александр Мелихов уникален, конечно, пластикой, плотностью мысли и масштабом проблем, которые его занимают.

Дмитрий Быков

Я лично знакома со многими людьми, которые с

нетерпением ждут каждую новую книгу Александра Мелихова, спрашивают, когда выйдет, покупают в первый же день, заранее записываются в очередь в библиотеках. Я и сама вхожу в это множество его восхищенных и преданных читателей! Александр Мелихов, прекрасный писатель и яркий мыслитель, не нуждается в представлении, каждая его книга – это редкий сплав интеллекта и иронии, и да, сколько бы раз мы ни открывали романы Мелихова, от чтения невозможно оторваться!

Елена Колина

Роман сильный, болезненный, терзающий. Читать его – работа души и ума. Сильный текст, но и писать об этом как-то... не нужно. Понятно же, что это – высшая лига литературы, и слать тебе хвалы как-то даже неудобно.

Дина Рубина

Три недели была погружена в иронико-философский мир, какой открылся в романе «Сапфировый альбатрос». Манила свобода, с какой автор переплетал выдуманное и реальное, сочиненное и записанное за жизнью, и ты попадал в этот переплет, и уже не мог и не хотел из него выбраться. Радовалась, что приглашена в великолепное пространство мысли и чувства на равных правах с этим оригинальным писателем.

Ольга Кучкина

Гриф и мамонт

Междугородный вызов засвиристел будто обычный городской, но остатками ясновидческого дара я сразу угадал, что звонит из Екатеринбурга моя бывшая невенчанная. Как всегда, без сантиментов типа «здрасьте, как жизнь?». Сразу берет быка за рога, а рогами она меня покрыла с головы до каблуков не хуже противокорабельной мины. Голос по-прежнему надменный с прорывами плотоядных ноток, когда появляется возможность произнести что-то оскорбительное:

– Вам там тоже мозги промывают этим коронавирусом?

– Как везде, я думаю.

– И ты веришь, что нашу власть волнует наше здоровье?

– Я думаю, ей спокойней, когда мы здоровы.

– Ошибаешься, ей выгодно переключить наше внимание на что угодно, только бы отвлечь от своих преступлений. Ты, может быть, и намордник носишь?

– В смысле маску? Ну, в общественных местах...

– Если вас начнут вешать, вы и веревки сами принесете. Ты как был конформист и ватник, так и остался, – в голосе звучит блаженная сытость.

– Ты забыла – я еще и путиноид, – этот сарказм я все-таки проглатываю, чтобы она не бросила трубку, а мне хочется спросить про сына, хоть я и знаю, что ни к чему хорошему это не приведет.

– Подожди, не бросай трубку! Как там... – Мне хочется сказать ласково «Андрюшка», но она оборвет: давай без сюсюканий. И я завершаю нейтрально: – ...Андрей?

– Пожалуйста, не делай вид, что тебя это интересует, – слышно, как она облизывается от удовольствия.

Связь прервана. Как всегда, ни здравствуй, ни до свидания.

Но материнское сердце не выдержало упущенной возможности еще раз меня уязвить – тут же повторное свиристенье.

– Как все-таки хорошо, что я не позволила тебе его уродовать! Он политический активист, не пропускает ни одного митинга. Уже четыре раза арестовывался. Может, он все-таки не твой сын? Но вроде бы я в тот месяц ни с кем больше не совокуплялась.

Она у меня утонченная, грубых слов не употребляет.

– Он бы лучше учился...

– Это для тебя важнее всего карьера. И комфорт. А у нас на Урале никогда не было крепостного права.

Врет, поди, судя по Бажову, но проверять неохота.

Снова отключилась, хорошо бы навсегда.

Но нет, так легко не отделаюсь – опять свиристит. Я холоден как лед – не дамся, не откроюсь.

– Привет, это Феликс.

Тоже без сантиментов, будто вчера расстались. Но я не умею не радоваться давним знакомым – лед в груди мгновенно превратился в теплый пар.

– О, привет, привет! Ты из Англии?

– Душой мы все в совке, из него эмигрировать невозможно.

– Но ты же работаешь на...

Я не решился назвать ужасно передовую радиостанцию, опасаясь перевернуть ее громкое имя, а Феликса всегда раздражало, что я не в силах запомнить то, что должно знать все прогрессивное человечество.

– Я там давно не работаю. Там надо быть лизоблюдом, а мне этого и в совке хватило.

– Но там же все нонконформисты?..

– Можно быть нонконформистом по отношению к своему начальству и лизоблюдом по отношению к чужому.

– Ясно, ясно... А как твоя жена к этому?..

– Только шашка казаку жена, как поет ваш главный казак Розенбаум. Я развелся.

– У тебя же вроде бы еще и дочка была?

– Да, так успешно ассимилировалась, что мой интерес к вашим делам называет инфантильным стремлением вернуться в национальную матку. Но это скучно, я к тебе по делу. Это правда, что у вас Алтайскому собираются ставить памятник? Что чуть ли не конкурс уже объявлен?

– Правда. Моя нынешняя... – я хотел сказать «жена», но мы не были женаты, а слово «подруга» показалось несколько обидным для моей любимицы, и я сказал «муза»: – Моя нынешняя муза даже участвует в этом конкурсе.

– А ты еще служишь музам?

– Не могу найти другого хобби.

– И что, находишь, кого воспевать?

– Да кто попадется. Женщинам всем подряд можно ставить памятники, только взглядишь. С мужиками труднее, им апломб мешает. Но каждый десятый тоже годится.

– Да, кто на это подсел... Алтайский же до своих тициановых лет продолжал что-то высасывать из пальца. Новый режим не нуждался в его услугах, так можно, стало быть, расслабиться, пуститься в лирику.

– Да нет, новый режим его тоже почитал. В Кремль приглашали, девяностолетие отмечали в Таврическом...

– Алтайский им был нужен как символ преемственности с совком. А воспитывать новых энтузиастов им ни к чему, от них один геморрой. Нас же с тобой Алтайский завлек в инженеры, а какие из нас инженеры?

Я промолчал: мне казалось, что из меня инженер вышел все-таки получше, чем из него. Все ж таки я работал в цеху, а не придуривался в охране труда.

Кажется, Феликс почувствовал мое несогласие и добавил, что фрезерный станок с ЧПУ в свободном мире он освоил все-таки быстрее, чем его коллеги из Ирака и Уганды.

– Следующая моя книга будет про Алтайского. Алтайский как зеркало... еще не решил чего – просвещенного конформизма или подпольного технократизма. А пока у меня только что вышла книга про ваш Курятник.

Курятником Феликс давно называл наш Дом на канале, он же «писательский недоскреб». Сталин, разъясняя Феликс, собирал писателей в курятники, чтобы они там несли яйца под присмотром – кому сыпануть полбу, а кому шибануть по лбу. Или вовсе оттяпать башку и в суп.

– О, поздравляю! А где можно почитать?

– Для тебя могу экземплярчик оторвать от сердца. Если интересно, подходи через час в Публичку, только ровно через час, я ждать не буду.

Интересно, в моей жизни Феликс и бывшая невенчанная возникли вместе – и возродились из небытия тоже вместе. Они окончательно ослепили бы меня своим всезнанием и всепониманием, если бы их не заслонило явление Алтайского. Разве это не чудо – ты вышел подышать уличной духотой, отдышаться от холода одиночества и заброшенности, и вдруг видишь человека, чьими книгами ты одурманивался с бессознательных лет?!

В заводском парткабинете на книжных фотографиях Алтайский казался усталым производственником вроде моего отца – та же «непокорная прядь», та же простонародная курносинка. А здесь из черной «Волги» выходил седовласый британский лорд с тростью – эбенового дерева, хочется сказать, поскольку этого дерева я никогда не видел, но вот изящно изогнутая рукоять точно была бронзовой.

Алтайский был в чем-то легком и летнем, но явно нена-

шенском, и я невольно с благоговением ему поклонился, не сообразив, что он-то меня не знает. Алтайский, однако, склонил в ответ свои седины с неспешной любезностью британского лорда, какими их изображали в советских фильмах, – видно, привык, что ему кланяются неизвестные.

Это был не старичок с палочкой, а патриарх, величественно опирающийся на трость. Тогда я, правда, еще не освоил слово «патриарх», просто как замороженный чуть ли не на цыпочках последовал за ним сначала по скучному коридору, потом по роскошной мраморной лестнице, но, поднявшись, Алтайский свернул в ихний секретариат, и мне пришлось снова начать тоскливые блуждания по гостиним писательского дворца, заполненного начинающей плотвой вроде меня.

Роскошные бронзы, мраморы, мозаики, витражи особенно беспощадно подчеркивали нашу плебейскую суть. Новое взятие Зимнего...

Я старался не смотреть по сторонам, чтобы случайно не встретить знакомого. В писатели лезет – что может быть постыднее! Кажется, и все там избегали смотреть друг на друга, словно добропорядочные господа, по слабости завернувшие в публичный дом. И все-таки одиночество, заброшенность были еще более мучительными. Я принялся исподволь посылать туда-сюда искательные взгляды, но они отскакивали от чужой холодности, нанося мне невидимые миру ушибы. Наконец один надменный молодой человек, весь в белом,

снисходительным взором позволил мне к нему обратиться. Он был похож на Феликса Юсупова с серовского портрета и даже, как оказалось, тоже носил имя Феликс.

– Какой красивый дворец, – сказал я, стараясь, чтобы голос не звучал просительно, но он меня не послушался.

– Роскошный писдом отвалили совписам. Мой дед при старых господах здесь бывал на приемах.

– Ого! А я только что видел на Воинова...

– Это Шпалерная улица. Большевистских бандитов пора забывать.

– Ясно. Так я только что на Шпалерной видел Алтайского. Скромный такой...

Алтайский вовсе не показался мне скромным, но меня с детства выучили, что скромность – главное украшение великих людей, начиная с Ленина.

– Мне нравится псевдоним Алтайского – он высокопарен и низкопробен. У него особенно скромно позванивают лауреатские медальки на английском твиде. Умный царедворец, ничего не скажешь. Перед исключением Солженицына заранее удрал в Чехословакию. Но в деле Бродского сыграл открытыми картами: ваш Бродский что, ученый, изобретатель? Почему я должен за него вступаться? Свободу несет только технический прогресс – этим своим липовым технократизмом он когда-то всех и обольстил. Наука, техника – как будто и советской власти нет. Как будто его же отца эта власть не расстреляла.

Этот Феликс чеканил, как с трибуны.

– Извините, а кто это Бродский?

– Ты что, Алтайского знаешь, а Бродского не знаешь?

Бродский – единственный сегодня великий поэт.

У нас в парткабинете его не было, хотел ответить я, но решил не выставлять себя еще большим дураком.

Тем временем я заметил компашку, которая чувствовала себя как дома, – перебежали друг к другу, перекидывались шуточками, деловыми вопросами о чем-то им одним известном: «Ты уже подал в “Молодой Ленинград”? Кто в этом году составляет “Точку опоры”? Сколько там платят за лист?»...

Но их броуновское кружение завивалось вокруг чуждой суете троицы, неподвижно стоящей у огромного окна на сверкающую Неву. Всем троим было хорошо за тридцать, хотя сборище наше называлось конференцией молодых, а одному, похоже, перевалило аж за полтинник. Он был одутловатый и слегка бомжеватый, только взгляд его для бомжа был слишком печальный и ушедший глубоко в себя. Время от времени он очень тяжело и продолжительно вздыхал, даже отдувался. Хотя второй – бравый, черноусый, смахивающий на веселого Чапаева, подравнявшего завитки усов, – рассказывал что-то забавное, поглядывая на публику с юмористическим любопытством, как будто выискивая повод еще чему-то посмеяться. Он был в летнем костюме цвета мороженого крем-брюле явно из индпошива – я таких лацканов и погончиков ни на ком еще не видел. Третий же, худой и от-

глаженный, с индейским лицом, вырезанным из твердого дерева, слушал и смотрел сквозь толпу непримиримо, словно последний из могижан, готовящийся бесстрашно встретить смерть от рук бледнолицых собак.

Я вгляделся в веселого Чапаева и, как это иногда со мной еще бывает, начал внутренним слухом разбирать его рассказ. Он повествовал о каком-то колхозном Кулибине, соорудившем из швейной машинки и сепаратора реактивный самолет.

Надтреснутый глас из динамиков прервал его рассказ и наконец-то пригласил нас в Белый зал. Здешние хозяева жизни уверенно двинулись куда следует, остальные потянулись за ними. Я старался не отставать от Феликса – для него я все-таки существовал.

Белый зал поразил меня избытком не то ангелочков, не то амурчиков под высоченным потолком. Что-то слышится родное – я сам такой же хорошенький, как ангелочек-амурчик-купидончик, и почти такой же маленький. Я почти не вырос после моего детского предательства, о котором речь впереди. Утешаюсь я тем, что все-таки я не карлик и пробуждаю в женщинах материнские чувства – им сразу хочется взять меня на ручки и дать грудь.

– Какой красивый зал, сколько всяких фигурок! – сказал я Феликсу, желая, чтобы он хоть что-то похвалил, выказал какое-то тепло, от которого бы и я мог чуточку согреться.

– Если вспомнить, сколько писателей здесь было замучено, то с этих амуров закапала бы кровь, – Феликс был непод-

купен.

Я заткнулся.

На сцене появился Алтайский. Ему бешено аплодировали не такое уж короткое время, пока он неспешно шествовал до белой громоздкой трибуны и пристраивал под нею свою трость. Наконец он поднял голову, и зал мгновенно затих. Сейчас Алтайский снова был похож на усталого производственника. В отличие от Феликса, он не чеканил, а говорил утомленно, как будто ему уже осточертело повторять одно и то же.

Когда мне приоткрывается чья-то душа, что-то внутри меня начинает пересказывать ее мысли моими словами, и мне запомнился примерно такой пересказ:

– Наверняка многие из вас мечтают быть великими. Девушки, впрочем, чаще мечтают о любви. И правильно делают. Только любовь дает счастье, а уж всяким-разным величиям я наслужился! Всегда есть какой-то дух времени, который молодых и тащит за собой. Сейчас тоже есть такой дух, куда ж без него! Частная собственность, рынок, выборы, еще какая-то дребедень... Дух времени – это всегда что-то плоское и вульгарное.

– Жлобское! – с места выкрикнул Феликс и пустил по рядам записку, на которой вкривь и вкось начертал на весу: «Алтайск».

На него заглядывались, но Феликс оставался надменным, как на серовском портрете. Алтайский же будто и не

расслышал.

– Тех, кого сейчас носят на руках, через двадцать лет будут оплевывать. С высоты новой пошлости. В литературе останутся только те, кто выразит что-то лично свое. Нам-то вбивали в голову, что нельзя уходить в личные переживания. Я вот тоже старался идти в ногу со временем, как тогда выражались. Тем более что с отставшими обращались просто: пиф-паф, и пошагали дальше. Но от пули-то еще можно было спрятаться. А вот если отстанешь от колонны, то пропустишь что-то великое, проживешь жизнь впустую. И я ужасно боялся отстать, остаться один. Хотя сам-то обожал одиночек, чудаков. Которые делают свое дело, хоть бы весь мир на них поднялся. Изобретателей, ученых – в производственные романы таких можно было протаскивать. Если не касаться того, что главным нашим производством было производство страха.

Феликс впоследствии утверждал, что Алтайский этого не говорил, но я-то иногда слышу и тайные мысли.

Алтайский не спеша развернул доскакавшую до него записку Феликса, так же не спеша достал и насадил на нос очки, окончательно превратившись в пожилого инженера, и прочел, не выказав ни малейшего смущения: «Вы секретарь Союза советских или талантливых писателей?»

Зал замер.

Алтайский не торопясь избавился от очков и заговорил так, словно опять-таки рассуждал сам с собой:

– Среди советских писателей есть талантливые, есть бездарные, а антисоветские бездарны все поголовно. Поскольку советские выражают полудохлый дух времени, с ним где-то можно и не считаться. А антисоветские выражают растущую, голодную пошлость. Она-то уже сожрет любой талант. Интеллигенция именно сейчас должна использовать советскую власть в своих целях. Власть дышит на ладан и хватается за нас как за соломинку. Все, что она десятилетиями по своему жлобству... (Хорошее словцо было сказано.) по своему жлобству давила, теперь публикуется и превозносится. Помню, с какими интригами приходилось пробивать какого-нибудь Хлебникова – крошечный объем, мизерный тираж... А теперь ахнули огромный том двухсоттысячным тиражом, только читать уже никому неохота. Мы ведь уже победили, зачем же еще и читать? Мы можем одолеть свое жлобство только наперекор власти. А если власть нам перестанет досаждать, вот увидите, через двадцать лет всех Пастернаков и Ахматовых будут сдавать в макулатуру. Власть должна постоянно загораживать нам свет и при этом быть достаточно слабой, чтобы ей это не удавалось. Только тогда мы будем тянуться к свету. Сейчас она дает нам дармовую печать и приличные гонорары, а мы на ее же бумаге кроем ее в хвост и в гриву. Новые хозяева с этим покончат. Сегодня власть оплатила вам дорогу, гостиницы, а половина из вас защищает от нее простого честного труженика, как выражалась советская критика. При новых хозяевах с этим народни-

чеством будет покончено. Простому честному труженику не будет места ни в экономике, ни в политике, ни в литературе.

Феликс потом говорил мне, что всю эту речь Алтайского я сочинил, позаимствовав какие-то мыслишки у него, у Феликса, но я все слышал своими внутренними ушами. Помню, даже и слово-то «народничество» я тогда не вполне понял.

На белой трибуне возвысился немолодой Гриф – зачесанный назад желтый пух, нос, пригнутый к седеющим усикам, пронзающие зал глаза, вмиг отбросившие мою попытку в них проникнуть... Поэтому я мало что запомнил из его слов – что-то про страшную несправедливость, которую сотворили с крестьянством, на чьем труде и доброте всегда стоял и будет стоять русский мир...

– В Европе давно крестьянства уже нет, а она как-то стоит, – пробормотал Феликс, явно стараясь, чтобы я услышал, что меня немножко согрело.

– Это кто? – осторожно спросил я, не расслышав имени оратора.

– Доронин.

– А он кто?

– Антисемит, – это прозвучало у него как профессия. – Антисемиты любят хвалить друг друга за доброту.

– Он тоже писатель?

– Ты действительно такой валенок? Хорошо живется в Мухосранске!

Анекдот про Мухосранск я знал. Абитуриента спрашива-

ют про Маркса, Энгельса, а он даже имен таких не слышал. «Вы откуда такой приехали?» – «Из Мухосранска». – «Эх, хорошо бы пожить в Мухосранске...» Но я не обиделся. За апломбом и резкостью Феликса я с первых его слов расслышал затравленность.

Ее же я расслышал в скрежещущей обиде Грифа:

– Уже и сейчас видно, что никакая перестройка русско-му мужику ничего не даст. Кто сейчас Горбачева окружает? Московский интеллигентский кагал!

Моим «творческим семинаром» командовали Алтайский и Доронин. Доронин обращался к Алтайскому очень почтительно, Алтайский же отвечал всего лишь любезно, держа руки на бронзовой рукояти своей эбеновой трости. Вся солидная тройца оказалась тут же – я только потом понял, что для меня была большая честь попасть в их избранное общество: у них уже готовились первые книги. Я пристроился поближе к Феликсу, который тоже сидел в нашем кружке на готическом стуле с высокой стрельчатой спинкой, заложив одну белую длинную ногу за другую, – весь кабинет был темный, средневековый, и наши мэтры уселись как бы во главе кружка напротив стрельчатого витража с черным готическим столом за спиной: за столом они бы выглядели инквизиторами, только черных капюшонов не доставало.

Здесь же присутствовала молодая женщина, которую невозможно было назвать ласковым словом «девушка», –

слишком уж невидящим взглядом она смотрела перед собой. Вот ее-то пышные огненные волосы действительно походили на капюшон. Я говорю «огненные» не ради красоты слова: они пылали на темном готическом фоне. Я неосторожно проник в ее огромные остановившиеся глаза цвета весеннего сизеющего льда и... и еле выбрался обратно из этой ледяной пустоты: там весной и не пахло.

И страшно ее зауважал – у меня-то, у валенка, внутри даже на морозе всегда что-то теплится.

Как и у всех, мне казалось. Ан нет же.

Снежная Королева...

Рукописи наши стопками лежали на готическом столе, и мэтры сами выбирали, кому чего читать. (Я с трудом называю рукописями то, что отпечатано на машинке, – слишком уж трудно мне дались поиски машинистки, да и деньги на нее от сердца пришлось отрывать – не совсем понятно было, ради чего.) Заблудившись в ледяной пустыне, я пропустил начало рассказа, который, отдуваясь, принялся читать вслух Печальный Бомж, и слов почти не успел расслышать: я сразу оказался в каком-то аду – страшная жара, духота, вонь дымящегося шлака, в лицо бьет гудящее пламя, в которое нужно швырять слежавшийся уголь лопату за лопатой, а пол уже не просто дрожит, а прямо-таки прыгает, и в этом пекле меня обдает ледяным ужасом – не стравливает клапан, сейчас взлетим на воздух!

Я не вижу, где он там клапан, какой он из себя, но я коло-

чу по нему тяжелой, выворачивающей плечи кувалдой. Надо драпать, но я все колочу и колочу, и вдруг взрыв радости – и тут же мой вопль: высвободившаяся струя пара обваривает мне лицо. Боль страшная, но мне не до нее – глаза, глаза, я ничего не вижу!!!

Мне что-то кричат, что-то спрашивают, но я не понимаю. «Мне выжгло глаза!» – кричу я. «Подожди ты с глазами!» – кричат мне и что-то спрашивают снова и снова, но я по-прежнему ничего не понимаю. А только твержу: «Мне выжгло глаза, мне выжгло глаза...» Кто-то подводит меня к трапу: «Пойди продышись, сейчас докторшу пришлем, сам дойдешь?» «Дойду», – отвечаю я и немного успокаиваюсь, поняв, что передо мной стоит четкая задача – добраться до палубы и ждать докторшу. Трапы знакомые, карабкаюсь на ощупь, боль невыносимая, но мне не до нее. Солнечный жар на обваренном лице ощущается совсем не так, как жар из топки, – я пальцами растягиваю веки и с трудом различаю капризную даму в широкой шляпе.

Дальнейшее происходило уже не со мной – я слышал только слова.

Я потрясенно покосился на Феликса, и он пробормотал: – На палубу вышел – сознания уж нет. Империалистов сменили экзистенциалисты.

Меня чуть не передернуло, но я тут же понял, что Печальный Бомж сам подставился. Измученный пролетарий, только что спасший жизнь пресыщенным дармоедам, выбирает-

ся на палубу перевести дух и, с трудом расклеив спаявшиеся веки, видит даму в широкой шляпе, беседующую с каким-то хмырем об экзистенциализме. Дама с отвращением смотрит на обваренное лицо спасителя и кричит прислуге: «Кто его сюда пустил? Уберите его сейчас же!» Дама была списана не то из советского фильма про проклятый старый режим, не то из парткабинетской книжки, разоблачающей буржуазию, зато слово «экзистенциализм» было стянуто из какой-то враждебной современности, о которой Печальный Бомж имел еще меньше понятия, чем я. Я знал, что где-то такими непонятными словами перекидываются, – ну так и пускай себе перекидываются, а вот Печального Бомжа это как-то уязвляло. Он и припел ни к селу ни к городу этот дурацкий экзистенциализм. Феликс его за это и подколот. И, увы, было за что.

На обсуждении Доронин Феликса обошел взглядом и вместе с Чапаевым и Индейцем как-то очень уж по-казенному расхвалил автора за знание жизни. Тот сидел, печально отдуваясь, но, когда я начал восторгаться жаром топки и угольной вонью, посмотрел на меня со смесью благодарности и подозрения, отчего я тоже обхожу главное – мерзкую тетку с ее мерзкой шляпой и мерзким экзистенциализмом. А потом еще и Алтайский добавил, что экзистенциализм и паровые двигатели принадлежат разным эпохам, тут бы требовался скорее дизель.

При слове «дизель» все почтительно притихли, только

Феликс продолжал скучающе смотреть мимо начальства в витражное окно, а Снежная Королева, казалось, не отрывала взгляда от внутренней ледяной пустыни.

Непримиримый Индеец непримиримо прочел рассказ про абсолютно живого заполярного шоферюгу, которому приснилось, что он гонит на «газоне» по тающему зимнику, только за баранкой сидит не он, а его младший братишка. И не такой, как сейчас, – серьезный доцент в очках и в шляпе, образованностью которого шоферюга очень гордился, а тот пацанчик, которого он когда-то подымал вместо пьяницы-папаши, загулявшего по тюрьмам. Лед уже тает, «газон» лупит по воде, что твой торпедный катер, вот-вот можно влететь в полынью, он кричит братишке: «Ты чего творишь, тормози!» – а тот еще пуще жмет на газ...

Проснулся в ужасе: с брательником чегой-то стряслось! Добирался на попутках, потом на самолете, а брат встретил суховато – он как раз читал Тирсу де Молину.

– Еще один атрибут социальной чуждости после шляпы, – пробормотал Феликс.

Тирсо де Молина и правда был притянут за уши. А вот то, что жена брата во время разговора не садилась, чтобы не создавать ощущения родственных посиделок, мне показалось точной подробностью. Из-за этого шоферюга даже не решился попроситься на ночлег, только начал поспешно выпрастывать из вещмешка шкуру нерпы – это-де и на шапку, и на куртку годится...

А жена зажала нос: «Фу, какая вонь, уберите сейчас же!»
Еще и на «вы»!

Шоферюга, потерянный, вышел на улицу и побрел, не разбирая дороги. Дошел до реки и хотел зашвырнуть мешок в Неву, но увидел целующуюся парочку и отдал шкуру им: берите, молодежь, – и на шапку, и на куртку годится. Девушка брать постеснялась, а парень принял по-свойски: «Спасибо, отец».

И шоферюге малость полегчало: хоть кто-то отцом назвал!

На обсуждении Доронин Феликса и Снежную Королеву уже подчеркнуто не замечал, а остальные хвалили автора в основном за доброту. Только Алтайский отметил, что старший брат раскрыт лучше, чем интеллигентная парочка. «Чего там раскрывать – пустельги», – непримиримо ответил Индеец. Мне хотелось возразить, что внутри все в чем-то правы, но слишком уж было жалко Индейца, чью душу я угадал в обиженном шоферюге. У меня даже голос слегка сорвался, когда я вспомнил это «спасибо, отец». После чего Снежная Королева впервые взглянула на меня с легкими признаками любопытства.

У веселого Чапаева тоже вернулся с северов совсем уж забулдыга, которого носило и по Севморпути, и по Ленским приискам, и пару раз даже по зонам по бакланке, так что телеграмму о смерти матери он получил с большим опозданием, а пока добрался до своего Усть-Залупинска, мать

уже схоронили. Он расшвыривал на пропой соседям атомные бабки, рыдал и разбивал пустые бутылки о собственный лоб, а протрезвев, надумал поставить на ее могиле памятник: печальная старушка смотрит в окно, ждет сына, а его все нет, – он не был дома как раз четвертной.

В Усть-Залупинске отыскался исхалтурившийся скульптор, неплохо зашибавший на недолговечных гипсовых пионерах, рабочих и колхозницах, а главным образом – на бюстах Ильича, которые постоянно требовались для школ и канцелярий. Усть-Залупинский Вучетич был счастлив наконец-то изваять настоящую скорбящую мать, вложив в нее всю свою скорбь о собственном промотанном таланте.

Он работал днями напролет, отрываясь только для того, чтобы снова и снова вглядываться то в одну, то в другую фотографию той, чей образ он должен был увековечить. Он даже ночью, случалось, вскакивал с постели и бежал в мастерскую, чтобы что-то подправить. Но когда он торжественно снял с надгробия покрывало, у скорбящей матери оказалась ленинская борода. Забулдыга чуть его не пришиб, но, к счастью, при мастере оказались и резец и молоток, и дефект был ликвидирован в присутствии заказчика.

Печальный Бомж и Непримирымый Индеец похвалили укороченного Чапаева за знание жизни, но нашли, что смерть матери не повод для стеба. «Мы ведь должны читателю что-то сюда вложить», – скорбно прибавил Индеец, положив руку на сердце, а бомж посоветовал поискать и вычерк-

нуть лишние слова.

– Маленькая черненькая собачонка – какое тут лишнее слово? – обратился он ко всем нам, не исключая Доронина и Алтайского.

– Собачонка, – ответил Чапаев, и обстановка разрядилась.

Снежная Королева, однако, к выражению холодного безразличия присоединила едва заметный оттенок презрения. А Феликс проступившее было благодушие снова сменил на маску надменности, когда Доронин принялся расхваливать Чапаева за то, что под грубой оболочкой русских людей он различает их порыв к правде.

Алтайский же попенял Чапаеву за избыток соленых выражений.

– Впрочем, сейчас это, кажется, модно, – саркастически прибавил он.

Чапаев слушал почтительно, но старался все запомнить, чтобы когда-нибудь пересмеять.

А когда начал читать я, он уже дал себе волю и хохотал в голос. Хотя я ничего особенно смешного в своей повести не видел. Я просто описал жизнь нашего цеха, только каждого героя изобразил и снаружи и изнутри – какой он внутри себя. Мне хотелось показать, что всякого внутреннего человека можно пожалеть. Парторг произносит долдонские речи про партию и правительство, а внутри себя он просто дурак. Да еще и подкаблучник. Его жена из отдела технического контроля, жилистая жердь, длинноногая и ядовитая, жи-

вет в неотступном страхе, что все против нее что-то замышляют. Циник с утра до вечера озабочен, как бы нечаянно не сболтнуть что-то трогательное. Он через силу спрашивает парторга, как его угораздило жениться на такой бабе, а тот чуть ли не со слезами на глазах отвечает: «Она очень хороший человек». А сам боится, не прознал ли этот злыдень про их сына-алкоголика.

Я и про станки написал так, будто они были живые, каждый со своим нравом, – по их мелким выходкам я и угадывал, какую поломку кто из них скоро выкинет: меня и держали за дефектолога.

Изобретателя я тоже обрисовал изнутри и снаружи. Он предлагал находить скрытые трещины в броне-плитах через заморозку. Обычно такую плиту станок-богатырь пытался ломать через колено, а изобретатель предлагал ее заморозить, чтоб она покрылась инеем. Тогда, если плиту перенести в тепло, на ней в местах скрытых трещин проступят темные полосы. Заводское начальство отговаривалось тем, что таких холодильников нет в природе. «Можно изготовить», – отвечал изобретатель. «Их некуда будет поставить». – «Можно выбросить старые машины». – «Вы не провели убедительных опытов». – «Давайте проводить их вместе». Отвязаться было невозможно – он был и не очень умен, и упрям как тысяча ослов. Но было в нем и трогательное – он через слово мысленно подкреплял себя цитатами из Алтайского. Хотя в реальности цитатами из Алтайского подкреплял его я – чтобы

он не повесился или кого-нибудь не убил.

Доронин специально выбрал для меня отрывок с Алтайским, и я опасался, что Алтайский обидится. Троица искоса поглядывала на него, а Феликс открыто потешался, но Алтайский посмеивался вполне снисходительно. Он был где-то даже польщен.

Доронин же лучился нежностью, словно любящий папаша, – надо же, какими добрыми бывают грифы! Надменный лик Снежной Королевы тоже выражал ледяное торжество.

– Что скажет наша критикесса? – наконец счел возможным обратиться к ней Доронин с некоторым даже мурлыканьем в голосе.

– Я критик. Феминитивы в моей профессии неуместны, – со светской ледяной улыбкой ответила она, и Доронин лучиться перестал: он, как и я, не знал этого слова.

После этого я зауважал ее окончательно: удовольствие от чужого унижения я тогда еще принимал за принципиальность, в существование которой теперь уже не верю.

– Что же до прочитанного отрывка, то это блистательная пародия на советский производственный роман.

В контрасте с ледяным презрением, вложенным ею в последние слова, снисходительная улыбка, которой она меня одарила, показалась мне прямо-таки растроганной.

– А все остальное было до такой степени старомодно, старорежимно... Как будто я снова сижу на уроке литературы и мы проходим какую-то бесконечную горьковскую «Мать».

Мое уважение превратилось в подобоострастие: я бы никогда не мог произнести столь обидные слова с таким спокойствием.

– С вами ясно. А что скажет независимый журналист? – взгляд Доронина снова сделался пронзительным. Он хотел произнести слово «независимый» насмешливо, но в его голосе прозвучала ненависть.

Как всегда, я последним узнал, что Феликс со Снежной Королевой представляли здесь первую в городе «независимую» моднейшую газету, о существовании которой я в своем ленинградском Мухосранске не подозревал.

– Я бы хотел тоже прочитать отрывок прозы. – Не дожидаясь разрешения, Феликс достал из заднего кармана сложенный вчетверо лист бумаги, точно такой же, на какой он отправлял Алтайскому свою колкость, расправил его на колене и принялся читать довольно громко, но так отстраненно, будто его это и вовсе не касалось.

Ничего подобного я никогда не видел и не слышал.

Ни одно слово, казалось, не осталось нетронутым, все было чем-то усилено или оживлено. Не «под цветущей липой», а «под шатром цветущей липы» обдало не просто «благоуханием», а «буйным благоуханием», ветер был не какой-нибудь, а «слепой», и промчался он по улице, «закрыв лицо рукавами», и над парикмахерской блюдо не закачалось, а «заходило», и ветер в комнате, когда герой закрыл дверь, не затих, а «отхлынул», и не из какого-нибудь, а из «глубокого»

двора, где сияли «распятые» на светлых веревках рубашки, взлетали «печальным лаем» голоса старьевщиков...

– Просто каждой фразе хочется аплодировать! – вырвалось у меня, когда – слишком рано, я бы еще слушал и слушал! – Феликс замолчал и начал снова складывать свой листок вчетверо.

Но в том, что никто меня как будто не расслышал, я уже уловил неодобрение. А потом началось.

Печальный Бомж после нескончаемого выдоха сказал, что ничего не понял – кто это рассказывает, про что?.. Индеец непримиримо произнес, что такая проза ничего не вложит читателю вот сюда – и снова положил руку на сердце. Усе-ченный Чапаев порадовался, что, по крайней мере, было коротко. Снежная Королева молчала с презрительной холодностью, неизвестно к кому из нас относящейся, а Доронин, кажется, что-то все же оценил:

– Штукарство. Выпендрож. Из разряда «такое мастерство, что и смысла не надо». Но у русского писателя на первом месте должна стоять правда. Не может быть большого писателя без большой темы!

– Русский писатель – это прежде всего праведник, – непримиримо рубанул Индеец.

– Мастерство только средство, – после подобающей паузы подытожил Доронин и повернулся к Алтайскому: – Вы согласны?

– В двадцатые годы так писали... – уклончиво ответил Ал-

тайский. – Тогда тоже считалось... далеко не всеми, правда... что каждая фраза должна заслуживать отдельных аплодисментов. Потом это обозвали формализмом, искоренили... Зря, конечно. Но я сейчас слушал и думал, – Алтайский довольно дружелюбно посмотрел на меня, – если хочется аплодировать каждой фразе, то это действительно отвлекает от сути. Этакое рококо, за узорами вещи не видно.

– Искусство это не что, а как. Это был, между прочим, Набоков. Вершина русской литературы двадцатого века. – В голосе Феликса звучала торжествующая насмешка, мне такой невозмутимости никогда не выучиться.

– Может, чья-то и вершина, только не наша, не русская! Как ни опиши выеденное яйцо... – Гриф пронзал Феликса орлиным взором, но Феликса это только забавляло.

Алтайский же разглядывал его с неподдельным любопытством.

– Если для вас это вершина, то в литературе вам делать нечего, – наконец подвел он итог в своей манере размышления вслух. – К этой вершине вам наверняка не приблизиться. А в виртуозности свои опасности: чуть только менее блестяще, так тут же претенциозно. Нормальный писатель интересен тем миром, который он открывает. А форма, если она его хотя бы не портит, уже неплохо. А если отвлекает... С Набоковым у меня ощущение, что я пришел к кому-то поговорить о каких-то важных вещах, а хозяин начал жонглировать десертными ложечками. Я повосхищался, поаплодировал, а

он все никак не остановится – то сделает шпагат, то сальто... Но я же не в цирк пришел! А он, бедняжка, не понимает, что тоже может быть смешон. Как всякий нарцисс.

Феликс отказался от ресторанного обеда на первом этаже. Ему противно смотреть, как жлобье устраивает кабак «Грибоедов» там, где пировали его аристократические предки, занесенные в какую-то бархатную книгу. Я торопливо улыбнулся, давая понять, что хотя бы «Мастера и Маргариту» я читал, и предложил пойти в пирожковую на Петра Лаврова: там пекли очень вкусные слоеные пирожки с творогом. «На Фурштатскую», – поправил меня Феликс, но от пирожков не отказался.

В темноватом коридоре, ведущем к выходу, я искоса увидел в большом зеркале наши силуэты – прямо Дон Кихот и Санчо Панса. Но если взглядеться в лица, один – падший ангел, а другой – купидон.

– Интересное здание, – на выходе со Шпалерной показал я на серый дом напротив, похожий на чертеж.

– Ты про Большой дом?

– Они тут все довольно большие...

– Ты что, не знаешь, что такое Большой дом? Хорошо у вас в Мухосранске! Это Кагэбэ. Говорят, у него и в глубину столько же этажей. Когда в тридцать седьмом здесь расстреливали в подвалах, то Нева вокруг сточных труб была красная, ее торпедными катерами разгоняли.

Так что бледно-золоченые пирожки с творогом я жевал безо всякого аппетита. А Феликс, похоже, вообще не знал, что такое аппетит. На каждый пирожок он смотрел так, как будто не мог поверить, что ему осмеливаются это такое предлагать.

– Додуматься же – булькающий кофе из бачка. Можно сказать «булькающее», – подытожил он, вытирая свои румяные саркастические губы оберточной бумагой.

Для аристократа он вообще был слишком румяный. И покраснелся еще больше, когда, невзирая на постепенно слабеющую жару, мы долго бродили по прилегающим улицам и Феликс то и дело поправлял меня: не Пестеля, а Пантелеймоновская, не Белинского, а Симеоновская (Белинский – чахоточный убийца русской литературы, красоту заменил социальностью), не Радищева, а Преображенская (здесь, кстати, жил Гумилев, слава богу, хоть Гумилева знаешь, даже доску не повесили, краснозадые сволочи), не Восстания, а Знаменская, не Маяковского, этого продажного гэпэушника, а Надеждинская, но когда-нибудь будет улица Хармса, вот его дом, это был первый абсурдист, другие держали кукиши в кармане, а он открыто строил власти рожи, уморили в психушке, твари, юмор самое опасное оружие, пафос возвышает...

Я не спрашивал, почему он сам не использует это опасное оружие: ему это шло – негодовать и вразумлять. Тем более что он был выше меня на голову и, хотя довольно тощий, в

своей белоснежной фирменной безрукавке походил на теннисиста. Я же, вообще-то скорее крепыш, рядом с ним смотрелся колобком, а потому тем более охотно не претендовал на равенство – я видел, что он сам униженный и оскорбленный.

Оттого и не склонный возвышать других.

– Здесь, кстати, на Сергиевской, жил Зоценко. Когда еще был при славе и при деньгах. А к нему подселили каких-то жлобов. Он пожаловался Горькому, а тутошний ЖЭК или там кооператив носил как раз имя Горького. Горький им написал, они забегали, гегемонов хотели выкинуть на улицу, но Михал Михалыч вдруг устыдился. Как же так же, писатель не должен претендовать на исключительное положение! И эти жлобы превратили его дом в помойку. И за дело – не заискивай перед жлобьем! Претендуй на исключительное положение! Хотя бы когда есть возможность.

– Но Зоценко же в своих книжках был смелый?..

– Ну да. Молодец против овец. А против волков ни разу даже не пискнул.

Попутно Феликс показывал мне то одно, то другое роскошное здание, обросшее львиными и человеческими мордами, русалками и кентаврами, ангелочками и купидончиками, венками и girляндами, атлантами мужского и женского рода – кариатидами, разъяснил мне Феликс. По поводу каждого здания Феликс повторял, что умелое подражание великим стилям лучше откровенного советского убожества.

Имена архитекторов как на подбор были иностранные: Сюзор, Боссе, Гемилиан, Ван дер Гюхт, Гоген...

Я бы не запомнил столько новых имен, если бы в эти часы не подключился к их душевному источнику.

Феликс сам подвел итог своему уроку:

– Самое ценное в России – ее порыв в Европу. Начала его аристократия, а потом и чумазые примкнули. Но краснозая свора им объяснила, что они и так лучше всех – проталериат, блин! Трудовое хренстьянство! И они из дикарей превратились в жлобов.

На раздачу слонов мы, разумеется, опоздали, но тут уже Феликс соизволил заглянуть в ресторан послушать сплетни для газетной заметки. Ресторан меня поразили даже после зимнедворцовых гостиных – сплошное черное дерево, видимо, знаменитый мореный дуб, которого я тоже никогда не видел. Над этой сказочной роскошью светился разноцветный герб с латинским девизом про какие-то консервы. Скорее всего, обещание что-то хранить, чего сохранить явно не удалось. Гудеж стоял, как в моей заводской общаге. Все уже перезнакомились, галдели, хохотали, а кто-то даже совсем недурно надрывался над разбитой любовью несчастного паяца. Но среди этого мельтешения, словно утес посреди ветреного озера, покоился сдвоенный стол, за которым царил Доронин, лучащийся добротой дедушка среди лучащихся любовью внуков. Только знакомая троица особенно не лучи-

лась, это были навестившие отца самостоятельные сыновья.

Снежная Королева леденила взгляд презрительной отрешенностью, но, кажется, никто, кроме меня, этого не замечал.

– Поздравляю, ты лауреат! Будем делать книгу, принимать в Союз! – громко приветствовал меня Доронин и хлебосольным жестом указал на стул рядом с собой.

Стул был занят, но в тот же миг оказался свободным. Борясь с неловкостью, я принялся усаживаться, подыскивая глазами, куда бы пристроить Феликса, но не нашел ни свободного места, ни, через полминуты, самого Феликса – он уже вращался в обществе, что-то записывая на сложенном вчетверо листе бумаги: это была его записная книжка.

Я что-то выпивал, чем-то занюхивал, не отрывая взгляда от Феликса и ощущая только холод, исходивший от Снежной Королевы, особенно ледяной под пожаром волос (у нее даже ногти были голубые), – мне казалось, я совершил предательство, приняв приглашение отдельно от него. Доронин наконец отследил мой взгляд и, склонившись ко мне, очень по-доброму посоветовал:

– Зачем тебе этот еврей? Ты держись от них подальше. Ты наш парень – русский, из глубинки, рабочий... А они тебя научат презирать землю, по которой ты ходишь, презирать людей, с которыми живешь... Мне давали на рецензию нынешнюю молодую прозу: если парня какая-то правда волнует – значит, русский, если начинается сюрреализм, абсурдизм,

еще какой-то выпендрож – значит, еврей. Сто процентов! Ни одного исключения!

– Нет-нет, он из дворян! Его дед, что ли... Или прадед... Здесь бывал в гостях.

– Они расскажут... Может, правда, обслуживал по финансовой части. Или долги приходил клянчить. Будь уверен, он и на тебя смотрит как на дерьмо – работяга, гегемон, черная кость... А вот мы тебя двинули именно как рабочего.

Рабочий я был довольно условный. К пятому курсу я понял, что изобретатель из меня никакой, хотя в студенческом научном обществе порядочно отмантулил слесарем без зарплаты, – такие вот творческие задания мне давали на кафедре. Зато на заводской практике мне сразу предложили лимитную прописку как рабочему, а реальную работу – как инженеру с незаконченным высшим.

Феликс, как раз шествовавший к выходу мимо нашего двоянного стола, как будто телепатически угадал наш разговор и приостановился, узенький теннисист во всем белом.

– Хочу еще раз напоследок предостеречь. Вы ненавидите интеллигенцию, а ведь только она любит народническую литературу, самому народу она не нужна. Уничтожьте интеллигенцию – уничтожьте собственную кормовую базу.

– Кто вам сказал, что мы ненавидим интеллигенцию?! – вскинулся Гриф. – Мы сами интеллигенция. Народная интеллигенция.

– Оксюморон, – с поразительным хладнокровием (даже

румянец с него не сошел) бросил Феликс незнакомое мне слово, которое, видимо, не один я принял за оскорбление.

– Можно, я дам ему по морде? – воззвал к Доронину кто-то из его шестерок.

– Я в твои годы разрешения не спрашивал, – презрительно бросил Гриф и, демонстративно отвернувшись, заговорил о чем-то другом.

Народный мститель начал высвобождаться из тесного застолья, а Феликс подждал его с выражением приятной удивленности, держа в правой руке какую-то короткую полированную палочку из черной, мне показалось, пластмассы. Когда мститель наконец выбрался и шагнул в его сторону, Феликс изящно, как фокусник, встряхнул свою палочку, и из нее вылетело новенькое сверкающее лезвие.

Все замерли. С усилием опрокинув чугунный стул, я бросился между ними в позе распятого Христа:

– Всё, мужики, погорячились, и хватит!

Мститель, не сводя с Феликса глаз, ощупью вернулся на свое место, а я начал пятиться к выходу, ласково приманивая Феликса ладошкой, будто маленького: пойдём, пойдём... Он, однако, не тронулся с места, пока на свое место не опустился его противник.

– Ты что, мог бы ударить его ножом? – только за резными дворцовыми дверями решился я спросить.

– Если ты готов убить и погибнуть, тебе, скорее всего, не придется ни убивать, ни погибать, шпана это чувствует, –

уклончиво ответил Феликс. – Так меня учил мой дед-дворянин, а он знал толк в этих делах. Четвертак оттянул по совокупности. На Колыме с Шаламовым общался.

Я понял, что Шаламова тоже надо запомнить.

– А почему про тебя говорят, что ты... ну, это самое, еврей? Извини, конечно...

– Не извиняйся, это не ругательство. Да, у меня один дед был столбовой дворянин, гвардейский офицер, а другой – еврей, чекист. В тридцатом именно он офицеров брал. Тогда сажали и стреляли за любые проявления офицерской чести. Жлобье в ней видело для себя оскорбление, оно ведь само на такое не способно. Сохраненный клочок полкового знамени, панихида по погибшим товарищам – все считалось заговором. Правда, в тридцать седьмом мой второй дедуля тоже получил свои девять грамм.

– Ты как, поговорил с нашей братией? С молодыми? Как они тебе?

– Нет величия замысла. Никто даже не догадывается, что писатель – орган языка.

– Разве не язык орган писателя?

– Читай Бродского. Или мою рубрику в газете. Там я от советских священных коров оставляю одни рога и копыта. Эй, эй, нельзя ли повежливее?

Мы так увлеклись, что перешли Литейный напротив улицы Каляева – пардон, Захарьевской – на красный свет, и мужчина с алой повязкой перекрыл нам дорогу полосатым

милицейским жезлом. Дружинник. Рядом с ним стояли еще несколько с такими же повязками. Они были смущены своей миссией и сразу же меня отпустили, чуть только я заизвинялся: простите-де, увлеклись, заговорились...

Но когда я оглянулся, коротенький, вроде меня, милиционер уже сопровождал длинного узенького Феликса к воронку, до тоски пыльному и унылому в контрасте с его теннисной белоснежностью. Феликс держал руки за спиной, видимо желая и в этом уподобиться своему легендарному деду. Не знаю, чего он им наговорил, но на попытку вступить за Феликса старшина или там сержант лишь предложил мне присоединиться к нему.

Я бросился в писдом, но за сдвоенным столом сообщение об аресте Феликса ни малейшего сочувствия не вызвало, а добрый Гриф даже ненадолго посуровел:

– Пусть посидит, ему полезно. А ты наконец посиди с нами, что ты все время куда-то убегаешь?

Мне досталось место рядом со Снежной Королевой. Меня принимали уже на равных, но это меня не особо потрясло – книга, Союз писателей... Повесть свою я сочинил забавы ради, а Союз писателей – на черта он мне вообще сдался?

Разговор уже шел обычный тогдашний: наивный Горбачев или похитрее нас, на пользу рынок литературе или во вред... Чапаев считал, что херово будет херовым писателям, Индеец рубил, что рынок потребует торговать совестью, а Доронин призывал объединяться, иначе не только совесть, но и

все государство распродадут. Оставшаяся за столом мелюзга не смела высказываться в присутствии мэтров, а Печальный Бомж тяжело и подолгу вздыхал, словно предчувствуя, как через десять лет в обвисшем, будто с помойки, пальто он будет объяснять мне, что надо дождаться *нормальной жизни*. Уж не знаю, какую жизнь он считал нормальной, но он ее не дождался.

Чапаева же я примерно тогда же встретил у Спаса на Крови над ледяным каналом. Осанистый, в нагольном полушубке, он клал просторные кресты поверх роскошной волнистой бороды, перемежая их земными поклонами. Я попытался разглядеть всегда таившуюся в уголках его губ усмешку, однако ни малейшей несерьезности не углядел – образцовый православный писатель, лауреат премии святого благоверного Александра Невского, честно выслуживший архиерейское благословение. А кажется, ничто не предвещало... Нет, елейности и тогда проскальзывали – крутолобые камни, величавые воды, смиренная бабуся, робко и незаметно проходившая бескрайней русской землей, – но, казалось, ничто не предвещало проповедей, что русский язык доступен только православным.

Непримиримый Индеец мне пару раз попадался с красным бантиком на лацкане на немногочисленных митингах какой-то истинно сталинской компартии. А куда и как исчез Доронин, я даже не заметил. Наш «Грибоедов» к тому времени сгорел, извещения о кончинах стало вешать неку-

да – некрологи с большим разбором принимали только газеты. Доронина, однако, удостоили, правда, без фотографии. Некролог напирал на его доброту к людям колхозной деревни и непримиримость к тем, кто использует доброту русского крестьянина в своих гнусных корыстных целях. Последние годы Доронин и провел среди русской природы, которую страстно любил. Он и растворился в ней – ушел на охоту и не вернулся. Феликс о таком его конце упомянул по радио с полным одобрением: писатель-де был посредственный, а кончил как граф Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери.

Грифа и графа Феликс сопоставил, разумеется, с подковыркой. Сам я передачи не слышал и даже представления не имею, как их слушают, но мне пересказали, перепутав, разумеется, многочисленные графские имена. После некролога мне стало совестно, что я так и не заглянул в доронинские сочинения, но ведь если писателя хвалят за доброту, значит, остальное вообще никуда не годится. Я бы бедного Грифа и не вспомнил, если бы не звонок Феликса и Снежной Королевы. Которая как раз на том застолье меня и захомутила.

Метод Снежной Королевы я постиг, когда она уже отправила меня в заморозку и больше не считала нужным передо мной таиться. Я не раз наблюдал весь цикл охмурения, всегда в какой-то компании, увлеченной общим разговором. Вначале у нее бывало аристократическое лицо с огромными, остановившимися на каких-то своих мыслях глазами, кото-

рым мир безразличен (и ярко-рыжие волосы, разлитые по ее плечикам, кажутся чем-то для нее посторонним). А к финалу ее глаза понемногу прищуривались и вместо безразличия начинали выражать брезгливость. Когда интересная дама достаточно долго сидит с таким выражением, но почему-то не уходит, всем, кроме самых толстокожих, становится неловко. И самый чувствительный и деликатный (вы поняли, на кого я намекаю) начинает перед ней заискивать. И радоваться самым скромным знакам снисхождения.

А уж когда на улице я осознал, что ужасно хочу есть (за двоянным столом все было не до того), и она предложила меня накормить, я был растроган так, как если бы она ради меня бросилась под поезд. По дороге к ее дому – на Рылеева, то бишь на Спасском – она поделилась, что родом она из Свердловска, то бишь Екатеринбург, а здесь пребывает в докторантуре, изучает Серапионовых братьев (это был решительно день открытий), но они ей уже неинтересны. Обыкновенная история – сдача и гибель русских интеллигентов. Это признание показалось мне верхом интимности.

В комнате у нее был жуткий бардак – на косо сдвинутом стуле пионерским галстуком пылали алые трусы, на столе валялся обломок батона, но об угощении разговор больше не заходил, ни тогда, ни в будущем. Я все-таки попытался что-то от обломка отгрызть, но лишь поранил губы. А когда Снежная Королева прильнула к ним нескончаемым поцелуем, я заледенел. Хотя ростом она была примерно с меня, так

что я не ощущал той неловкости, которую всегда испытывал рядом с женщинами выше меня. Какая-то небольшая частица меня внизу – не хочу приbedняться, она-то ростом не обижена – немножко все-таки пульсировала, но, когда Снежная Королева взяла ее в рот, превратилась в ледышку и она. Ледышку необыкновенно твердую и всегда готовую к бою по первому зову владычицы, только полностью утратившую чувствительность. С нею я не только побил все личные рекорды, но наверняка бы вошел в Книгу рекордов Гиннеса, если бы каким-то образом зафиксировал свои достижения. Она изнемогающе стонала, вясь в моих объятиях змеей, да еще и при каждой новой встрече мимоходом упоминала про нового любовника; Феликс тоже был пару раз упомянут, так что мы с ним еще и побратались таким оригинальным способом (она и сейчас может мне позвонить среди ночи и с рыданиями сообщить, что у ее партнера порвался презерватив). Меня в моей заледенелости это не трогало – так, стало быть, положено у передовых личностей, – я не очень даже удивился, когда она однажды призналась, что во время секса решительно ничего не ощущает: я ведь тоже абсолютно ничего не ощущал – что может ощущать сарделька из морозильника! Я только поинтересовался, зачем она тогда извивается и стонет. «Хочу убедить себя, что я нормальный человек».

Видимо, для этого же она всегда носила чрезвычайно короткие юбки, до такой степени обтягивающие, что молния на них была всегда готова вот-вот лопнуть, а иногда и лопа-

лась. Возможно, и это, по ее представлениям, было атрибутом нормальных женщин.

Объяснение меня устроило – я утратил способность чего-то ждать, а потому и чему-то удивляться. Правда, когда она мне рассказала про ее недавний секс втроем – один в рот, другой в вагину (она всегда выражалась чрезвычайно культурно), – я все же, больше из вежливости, спросил, зачем ей это надо. «Назло таким ханжам, как ты», – ответила она.

Уж и не знаю, как она распознала во мне ханжу. Видимо, мне не удавалось скрыть легкую брезгливость, когда я видел окровавленную вату в мусорном ведре. По крайней мере, она каждый раз начинала с гадливостью обличать романтическое отношение к женщине как изощренную форму ее подавления: такое отношение обрекает женщину на непреходящее чувство вины из-за того, что она не может сделаться неземным созданием, к чему ее вынуждает маскулинный эгоизм. Так что она повсюду разбрасывала свои трусы и лифчики не только из презрения к плебейским (маскулинным) условностям, но и по глубоко принципиальным мотивам.

Возможно, при всей своей отрешенности она еще и замечала, что я избегаю смотреть на нее, когда она при мне ходит голая, – не случайно она всякий раз напоминала мне, что подходит на женщин Кранаха. Но тогда я еще не знал, кто такой Кранах, я тогда только и уселся за книги. В нашей заводской библиотеке чего только не было: советская власть не жалела денег на старых классиков, чтобы с их помощью душить но-

вых. Добрался я и до женщин Кранаха. Да, она была такая же квелая, но еще и чересчур белая, словно выросла в каком-то подполе. Пылающая рыжина ее волос это только подсвечивала. Я с большим опозданием понял, почему Феликс называл ее огненной Ундиной.

Кстати, моя одержимость чтением нисколько ее не умиляла. «Мартин Иден, молодой Горький», – роняла она презрительно, заставляя меня за какой-нибудь серьезной книгой.

И все-таки я посчитал своим долгом выказать некое огорчение, когда она известила меня, что возвращается в родной Екатеринбург. Насколько, правда, она могла хоть что-то ощущать родным... Как-то упомянула, будто о чем-то само собой разумеющемся: ведь главная задача советской школы – убить в учениках чувство собственного достоинства. Я начал припоминать своих учителей, так даже и самые противные не ставили перед собой каких-то глобальных задач, только личные. Даже жутковато становилось, когда я пытался вообразить, в каком мире она живет. Иногда на улице она вдруг впивалась мне в руку своими голубыми ногтями – мимо прошмыгнула кошка: они якобы почему-то внушали ей ужас.

В совке ведь все жили в страхе – это тоже был общеизвестный факт, и я не смел признаться, что в моем Мухосранске все всегда совершенно спокойно прохаживались по адресу любого начальства, а Брежнева называли исключительно Леней или даже Ленькой.

Правда, у нее отец был какой-то партийной шишкой – их, может, и правда запугивали? В ее семье считалось страшной тайной, что ее дед когда-то отсидел, а я был страшно горд, когда узнал, что мой отец тоже успел потоптать зону, – немедленно отправился хвастаться перед друзьями: наконец-то и мой батя оказался настоящим мужиком. Зато если кто-нибудь возмущался, когда какой-то мудака глубокой ночью будил народ, с адским грохотом гоняя на мотоцикле, она со скорбным презрением роняла: «По-вашему, все должны ходить строем...»

Из Екатеринбурга она впервые позвонила мне с иронической новостью:

– Поздравляю, ты стал отцом.

Я начал растерянно задавать обычные вопросы: мальчик или девочка, сколько весит, есть ли молоко, как назвали?

– Пожалуйста, не делай вид, что тебе это интересно.

Она всегда ненавидела слово «совесть» и тех, кто делал вид, будто она у них есть.

Но потом все-таки снизошла: назвали Андреем, как ее отца.

– Давай я буду что-то на него высылать...

– Неужели ты думаешь, что я возьму у тебя хоть копейку?

Видимо, она все-таки не голодала – из партийных шишек, кажется, никто не пропал.

В дальнейшем она звонила мне только для того, чтобы сообщить, что с Андрюшкой случилась какая-то неприят-

ность, – и гордо отказаться от помощи. Я старался не привязываться к сынишке, которого никогда не видел, понимая, что это не принесет мне ничего, кроме, мягко говоря, огорчений, но после каждого ее звонка образ мечущегося в жару или стонущего после прооперированной грыжи малыша повергал меня в мучительную нежность. Как-то бреду, оскальзываясь, по гололеду и плачу самыми настоящими горькими слезами. Хотя до этого не плакал черт знает сколько лет.

Это при том, что заморозка моя так до конца и не прошла. Сближаясь с женщинами, я каждый раз начинал ощущать в душе нарастающее холодное недоверие, а первый поцелуй превращал меня в ледяную статую. Я предпочитал иметь дело с красотками из порнографических журналов, которыми при обретенных свободах стало разжиться необычайно просто. С ними не нужно было притворяться, изображать чувства, на которые я сделался не способен. Требуется тебе от женщины какая-то часть ее тела – ты ее и берешь без всяких ужимок и прыжков. Разрядился, и можно спать.

Спальное место у меня теперь было вполне комфортабельное. Все устроилось как по писаному: издали книгу, заключили договор на следующую, дали выморочную квартиру в писательском Доме на канале, или, как именовал его Феликс, в Курятнике на Канаве. Вторая книга не вышла – мода на народничество действительно оборвалась, но квартира осталась. Маленькая, но двухкомнатная. В ней до меня жил какой-то спившийся критик, имени которого я никогда

не слышал, но Феликс и его знал: «Партийная сволочь. Писал печатные доносы на соседей – на Зощенко, на Олейникова, на Корнилова, на Заболоцкого, – всех-то он помнил! – на Слонимского, на Козакова... На Козакова, не Казакова, это отец артиста, порочного красавчика, Педро Зуриты».

Все они когда-то тоже жили в этом доме. Я знал только Зощенко, но и к другим проникся почтением: доносы на кого попало писать не станут, тем более печатные.

Вот в эту-то квартирку, словно сговорившись, мне и позвонили один за другим бывшая Снежная Королева и... чуть не сказал «бывший», Феликс. Они оба в моем воображении как-то поскучнели, опростились, хотя оба, можно сказать, даже преуспели. Бывшая Снежная Королева сделалась главным теоретиком вагинальной поэзии: преодоление символического репрессирования вагины через ее индивидуализацию, портретизацию и субъективизацию, революция через вагину, геополитика через биополитику...

Буря в стакане помоев. Все-таки их не очень много – тех, кто ненавидит чистоту и красоту. Тех, кто желает быть чище всего земного, намного больше – для них-то и работает Феликс. Он заделался популярным в передовых кругах радиоведущим, обличителем темных пятен советского прошлого, но мне все это давно уже представляется какой-то отработанной скучищей – ну, вагинальной, ну, почечной, ну, темные, ну, серо-буро-малиновые, ну, советского, ну, турецкого...

С какой же голодухи можно все это занудство пережевы-

вать?.. Прямо анекдот про партизан: война уже кончилась, а они все эшелоны под откос пускают. Памятник Алтайскому – это для грифов еще, можно сказать, свежатинка. Неужели Феликс только для этого и прилетел? В последний раз я его видел во время похорон Алтайского. Меня в Таврический не пустили – было две охраны: снаружи питерская, а внутри московская, воинский караул с церемониальным шагом, – а Феликс там побывал в качестве собкора или кем он тогда звался и вышел потный во всем черном со скорбным выражением «Что ж, ничего другого и ожидать было нельзя».

– Ни читателей, ни писателей – одно высшее начальство. Что ж, и тут преуспел. Он до последних дней готовил себе такую смерть.

– Он в последние годы не раз говорил, что о смерти не желает думать: «Ну ее в жопу, хочу ощущать каждый новый день как подарок».

– Да, пора валить. Совок победил.

– Что, уже экспроприировали экспроприаторов? У нас в Мухосранске они жируют как жировали.

– В почетном карауле вся партийная когорта. Уж сколько писали про нового Алтайского – все разоблачил, все осудил, во всем покаялся! – а эта свора все равно держит его за своего. Нас вырастил Алтайский на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.

– Так значит, это он победил, а не они. Они всегда прима- зываются к победителям.

К этому времени я уже перестал лебезить перед Феликсом.

– Я понимаю, он для тебя отец родной. Дал путевку в жизнь, в гроб сходя, благословил...

Благословлять он меня не благословлял, но всегда говорил растроганно: «Как это приятно!» – когда я решался ему позвонить. Потому что все остальные звонили ему только по делу. Возможно, за пределами его семьи я был единственным человеком, которому он доверял, верил, что я не собираюсь чего-нибудь на нашей дружбе выгадать. А я и впрямь совершенно бескорыстно сострадал ему за те ужасы и утраты, через которые он прошел за свой мафусаилов век. И был настолько благодарен ему за ту форточку, которую он когда-то, сам того не зная, открыл для меня, что, даже разговаривая с ним по телефону, я невольно вставал со стула.

Он и сам уцелел лишь благодаря бесконечной веренице чудес, да и мое сближение с ним тоже вполне может сойти за чудесную цепочку. Правда, гораздо более скромную. То, что в сортире нашей заводской общаги за ржавую трубу была заткнута газета, приглашающая молодые дарования на конференцию молодых писателей, это, конечно, еще не чудо. То, что мне вдруг стукнуло в голову написать про наш цех, тоже не чудо. То, что я попал на семинар к Алтайскому и получил квартиру в Доме на канале, в котором жил Алтайский, – почему бы и нет. То, что он, встречаясь со мной в нашем закрытом дворе, отвечал на мои почтительные приветствия,

тоже естественно для воспитанного человека, если даже ему надоели приветствия полужнакомых. То, что он дал мне свой телефон и пригласил звонить и заходить, а потом еще и начал приглашать меня с собою на прогулки, – даже и это на чудо еще не тянет.

Но если рассмотреть всю цепочку с самого начала...

Чудеса начались, когда мне открылось, что мой отец – Гитлер.

Мне так полюбилась моя тряпочная мышь, которую я сшил на уроке рукоделия, что я решил изготовить еще и мышь для дома. Выкройки принес из школы и разложил на пороге нашей квартиры, более удобного места почему-то не нашел. Мордочка была уже готова, а глазками-бусинками вообще было невозможно налюбоваться. И я обмер от ужаса, когда отец наступил на нее своим уличным ботинком. А когда на мой отчаянный вопль он не упал на колени, не рассыпался в извинениях, но только резко оглянулся, сначала испуганно, а потом зло и мрачно буркнул свое обычное: «Делом бы лучше занялся», – я был так потрясен, что меня озаарило: он мне не отец! Родной отец никогда бы так не поступил! Да и вообще человек так поступить бы не мог, так поступить могло только какое-то чудовище!

Но единственным чудовищем, какое я знал, был Гитлер. Так значит, это и был он, больше некому! Как-то ухитрился ускользнуть от наших солдат и теперь как ни в чем не бывало

работает на заводе. Из любимых книжек про войну и про шпионов я с детского садика знал, что шпионы больше всего любят проникать на советские заводы.

Про детский садик я не приврал – я уже тогда умел и обо-жал читать, это у меня врожденное. А в первом классе я уже самостоятельно ходил в заводской парткабинет и, приподни-маясь на цыпочки, выбирал самые распухшие от зачитанно-сти книжки, на последней странице которых какой-то доб-рый человек написал: «Эта книга очень хорошая».

Ага! Вот как я его разоблачу! Я начну ругать Гитлера. Ес-ли он не Гитлер, он тоже начнет его ругать, Гитлера все ру-гают. А если он Гитлер, то начнет увиливать.

Отец в своем обычном мрачном одиночестве на кухне пил чай из вагонного стакана в подстаканнике.

– Папа, – с невинным видом спросил я его, – кто такой Гитлер?

– В политруки готовишься?

Ага, увिलивает.

– Он был гад, да?

– Тебе заняться больше нечем?

Попался! Теперь следить за ним, пока он где-то не проко-лется.

Я принялся в одних носках ходить за отцом на цыпочках, не отрывая от него глаз и невольно повторяя все его движе-ния. И с какой-то минуты вдруг почувствовал, до чего ме-ня все в нашем доме сердит. Кухонное полотенце висит не

на растопыренных металлических пальцах, а на спинке стула – я и об этом должен позаботиться!.. В раковине стоят два пустых стакана – трудно, что ли, сполоснуть?.. На моем учебном столике раскрыта посторонняя растрепанная книжка про войну – нет, чтоб учить уроки! И что из него из такого выйдет?..

До меня не сразу дошло, что я вижу мир отцовскими глазами.

Все в нашем доме было не так.

И тут я увидел в зеркале свое собственное отражение. Обычно я на него не смотрел, ну, разве что иногда корчил ему мимолетную рожу. Но на этот раз меня вдруг пронзило такой нежностью и болью, каких я никогда еще не испытывал. «Что же из него получится, как он будет жить?!» – такими вопросами насчет себя я никогда не задавался, а тут вдруг почувствовал нешуточную тревогу. И понял, что отец мучительно меня любит. А сердится только потому, что ему страшно за меня.

И я раз и навсегда его простил.

Когда это до меня окончательно дошло.

Но в тот раз я заторопился на улицу испытать обретенный дар.

Это была хоть и окраина, но еще городская – улица пыльная, но асфальтовая, дома деревянные, но двухэтажные, во дворах трава, но не картошка, и через двор вразвалочку, загребая ногами, брел наш главный блатарь по кличке Ящер с

гитарой, а не с гармошкой за спиной, в сапогах, но не кирзовых, а хромовых, уже укороченных отголосках ковбойской моды.

Король квартала. Небрежно поплеывающий на весь мир и попинывающий угодливые банки, стараясь задеть плечом прохожих. Которые сторонились его, издалека угадывая его финку за голенищем и готовность ее применить.

В нашем квартале ни один уважающий себя пацан не выходил из дому без финки, как в былые времена дворянин без шпаги, но всадить ее, не раздумывая, был готов только Ящер.

Я не понимал, что такому клопу, как я, всерьез не рассердить этого великого человека, и повторял его движения на безопасном расстоянии и с крайней осторожностью. Но оказалось, их достаточно было только намечать. Буквально через минуту я почувствовал себя напряженным до боли в мышцах. Сохраняя небрежный вид, я старался незаметно зыркать туда-сюда, изо всех сил вслушивался, не проверещит ли чего оскорбительное какая-нибудь придурочная баба, не разыскивает ли меня кто из королей других кварталов, из ментовки, из родни или из дружков кого-то из обиженных, которых и не упомнить, не выкрикнет ли из-за угла или из форточки какая-нибудь трусливая гнида: «Ящерица, ящерица!»

Я перестал завидовать королям и знаменитостям, обреченным неотступно оберегать свою власть и славу, когда прочувствовал этот их вечный страх.

Правда, прочувствовал далеко не сразу – в тот летний вечер я увязался за бродячей собакой, их по берегам нашего лога всегда отиралось порядочно. Шелудивые, с отставшим войлоком грязного меха, униженные и пришибленные, они шныряли, что-то вынюхивая, в ожидании торжественного часа, когда из бойни на том берегу лога мужик в оранжевом клеенчатом фартуке вынесет в почерневшем дюралевом тазу и плюхнет на мусорный откос кровавую требуху.

Взрослых наш лог не поражал ни шириной, ни глубиной, но мне он казался чем-то вроде пропасти, отделяющей человеческий мир от диких джунглей, из которых иногда даже доносилось коровье мычание, но самих коров за худосочными деревьями было не разглядеть. Я никогда не видел, чтобы их и приводили к дощатой сараюшке, именуемой грозным словом «бойня». Но требуха откуда-то бралась. И собаки каким-то чудом сразу о ней узнавали и мчались на тот берег по вздрагивающему мосту, подвешенному над помойным ручьем на ржавых тросах. Доски на мосту были прогнившие, да и тех половины не хватало, и люди по ним не ходили, да и незачем было. Однако собак это не страшило, и я не видел, чтобы хоть одна из них когда-нибудь провалилась. Они мчались, почти не касаясь настила, и с разлету врывались в рычащий, шевелящийся шелудивый ком. Неясно было, кому там что достается, но, когда псиня орава начинала пресыщенно разбредаться, морды у всех были окровавленные, а особо ненасытные волокля за собой довольно

длинные обвалынные в земле кишки.

Только тогда меня наконец передергивало, и я мог одолеть оцепенелость омерзения и, мотая головой, изо всех ног лупить домой смотреть по телику что-нибудь героическое, про войну.

А назавтра даже странно было встречать тех же самых собак – пришибленных, шарахающихся от каждого резкого звука или движения, – невозможно было представить, что это они же так бесстрашно мчались по еле живому мосту и рвали друг у друга кровавую добычу.

Вот за одной из них я и увязался.

Понуро опустив голову, затравленно кося и прислуши... нет, уже принюхиваясь. И сколько захватывающих запахов потащило меня в разные стороны! Из форточки ударяло жареными котлетами, с помойки тянуло протухшим сыром, а за пересохшей собачьей мочой я уже готов был ринуться хоть через детскую площадку, которую я только что с опаской обходил: это была, скорее всего, моча суки, но тогда я это слово считал неприличным, да и сейчас считаю.

И вдруг я забыл обо всем. Неодолимый запах свежей крови – я сразу понял, что это она, – захватил меня и понес через раскачивающийся щербатый мост, через свалку на откосе к свирепому собачьему клубку. Пробриться сквозь сплетение войлочных спин я не сумел, но проползти меж скребущих лап мне удалось, и я в последний миг успел ухватить зубами что-то восхитительно склизкое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.